

УДК 242
ББК 86.372
С 60

*Допущено к распространению
Издательским Советом
Русской Православной Церкви*
ИС Р19-903-0092

Солоницын А.А.
С 60 Красные родники: Повести епископа N / Алексей
Алексеевич Солоницын. — М.: Сибирская Благо-
звонница, 2020. — 509 [3] с.

ISBN 978-5-00127-108-6

В этой книге рассказаны реальные истории о мало-известных или вовсе неизвестных подвигах иерархов Церкви, которые произошли на протяжении всего двадцатого века. Они достоверны по фактуре, но есть в повестях и литературный *домысел*, без которого не может быть полноценного художественного произведения. Автор основывался и на личном опыте, и на том, что узнал от митрополитов до прихожан Православной Церкви, которых ему посчастливилось знать, а с некоторыми и дружить.

УДК 242
ББК 86.372

© Солоницын А.А., текст, 2020
© Издательство Сибирская Благовзвонница,
оформление, 2020

Вступление

Двадцатый век...

Владимир Соколов, поэт этого века, тончайший лирик, в конце своей жизни написал:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек,
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.

Расчеловечивание шло так целенаправленно, так сильно, что иного пути, как только к коммунизму, казалось, и представить было невозможно.

Но среди отравленных, окровавленных рек все-таки били и чистые

родники — родники нашей веры Православной, которая и спасла Россию.

О том, как это было, написано немало. Но каждому, кто берется за перо, всё равно кажется, что он первооткрыватель. И что пишет он о том, что до него не говорили и не писали. И это действительно так, потому что каждая жизнь, каждый личный опыт уникальны.

Тем более нераскрытых страниц в жизни Русской Православной Церкви столько, что о них будут писать и писать и каждый раз удивляться неслыханной стойкости наших подвижников и исповедников, их чудотворному дару, врученному им Господом за то, что они пошли на страдания и смерть во имя Христа Спасителя.

В этой книге рассказаны реальные истории о малоизвестных или вовсе неизвестных подвигах иерархов Церкви, которые происходили на протяжении всего двадцатого века. Они достоверны по фактуре, но, подчеркну, есть в повестях

и литературный *домысел*, без которого не может быть полноценного художественного произведения. И с реальными фактами, о которых в книге рассказано, иногда я поступал, относя их к разным героям, и помещал в разные временные отрезки — *как того требовала логика художественного повествования*.

Я основывался и на личном опыте, и на том, что узнал от митрополитов до прихожан Православной Церкви, которых мне посчастливилось знать, а с некоторыми и дружить. Но я предпринял попытку создать некий обобщенный образ иерарха Церкви.

Разумеется, у прообразов моих героев разные характеры, разные обстоятельства жизни, в которых они жили и умирали, но неизменно одно — верность Христу до последнего вздоха. Они те самые герои, *которые претерпели до конца*, как говорил Господь о тех, кто войдет в Его Царствие Небесное.

Имена у них разные, но в моем повествовании главный герой обозначен инициалом N.

И если читатель все-таки спросит: «А было ли это на самом деле?» — я отвечаю: «Да, было».

Но чтобы автора не обвинили в неправильном изложении фактов, я, повторяю, изменил фамилии реальных героев, которые описаны в повестях. Кроме того, я использовал прием, когда повествование ведется как бы не самим автором, а рассказчиком, который тоже является литературным персонажем.

Этот прием использовался в нашей классической литературе неоднократно — вспомните, к примеру, «Повести Белкина» Александра Сергеевича Пушкина.

Центральная повесть книги посвящена событиям Псковской духовной миссии, операции с кодовым названием «Послушники», которая была проведена во время Великой Отечественной войны. Благодаря

самоотверженности духовенства эта операция в немалой степени способствовала нашей Победе в битве на Курской дуге.

Факты этой исторической битвы, внесшей перелом в войне, рассекречены лишь в недавнее время. На них я и опирался, рассказывая о несокрушимости духа русского духовенства, сумевшего *остаться верным Христу во время гонений и со стороны поработителей, и со стороны советской власти.*

Стихотворение, с которого я начал это вступление, заканчивается так:

Я давно уже ангел, наверно,
Потому что, печалью томим,
Не прошу, чтоб меня легковерно
От земли, что так выглядит скверно,
Шестикрылый унёс Серафим.

Да, поэт прав в том, что верные Христу — Ангелы Церкви.

И просьбу поэта, как теперь, уже в двадцать первом веке, стало очевидно,

надо бы произнести — ибо Шестикрылый Серафим унес земных Ангелов к Небу.

Потому что благодаря именно им пробились чистые родники, которые мы можем по праву называть красными, ибо их святая чистота возникла на крови мучеников и исповедников нашей обезображенной, но выжившей и взявшей курс на возрождение Русской земли.

Алексей Солоницын

И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их.

Мф. 15, 30

Спассти человека

Тетрадь первая

1

В распахнутые двери деревянного сарая, который находился неподалеку от дома, я увидел владыку, стоящего у верстака. Не выпуская из рук рубанка, которым он обтесывал доску, владыка глянул на меня и кивнул, пригласив войти. Заканчивая работу, он открутил винты, которыми доска держалась на верстаке. Затем приладил доску к поперечине и развернул изделие лицом ко мне. Лишь теперь я понял, что он сделал, увидев, как ладно складывается и раскладывается узкая столешница из холстины на четырех ножках.

— Вот, неплохо получилось, — он проверял, ровно ли стоит на полу его рукоделие. — Осталось ножки покрасить, и будет аналойчик*.

— Замечательно. Но вы утомились.

— Утомляет безделье. А работа силы дает. — Он вытер пот со лба и присел на скамейку у стены. На нем льняной светло-серый подрясник, седые волосы схвачены узкой черной лентой, как у мастерового. Высокий, худой, он сейчас не производил впечатления больного. Но я точно знал, что ему предписано лежать в постели.

— Садитесь рядышком. Здесь прохладно. И дышится хорошо. Что пишете? Рассказывайте.

— Да ничего особенного. Все какая-то текучка, никак до главного не могу добраться.

* *Аналой* — столик с покатым верхом, на который в церкви кладут иконы, книги, крест.

— Да? И мне это чувство знакомо... Сегодня, пожалуй, одну тетрадку вам отдам, дорогой Владимир Иванович. А может, и не одну. Чувствую, пора. Вот пришел сюда раненько да столько возился, прежде чем за работу взяться. Это о многом говорит. Ну да ладно.

В сарайчике, где владыка плотничал, мы сидели недолго. Пришла его помощница, Прасковья, позвала к завтраку. И вот уже в доме, за трапезой, владыка рассказал мне о своем духовном руководителе и воспитателе Никодиме многие подробности его биографии, о которых я знал немного или совсем не знал.

— Выскажу вам одно мое соображение, — сказал владыка за трапезой. — Вы, надеюсь, меня поймете. Когда я писал, мне хотелось, чтобы мои записи были разнообразны, что ли, понимаете? Поэтому, когда я записывал то, что рассказывал мне владыка Никодим о себе, я его рассказы решил изложить от первого

лица. Я подумал, что так мои записи будут лучше восприниматься читателем... Ну да ладно. Как получилось, так и получилось.

Он вздохнул, посмотрел на меня совсем не так, как обычно, а несколько смущенно. Видимо, и сейчас сомневался, все ли он сумел сказать в своих тетрадях так, как надо, о самом дорогом для него человеке.

— Но вот что: прежде всего укажите, Владимир Иванович, краткие сведения о моем духовный отце. Я их записал в предисловии. Впрочем, мы же с вами договорились — вы можете потом, после прочтения, представить читателю мои записи и в другом виде...

Он вручил мне тетрадь с доброй улыбкой.

Я поблагодарил владыку как можно сердечнее за его доверие ко мне и поспешил к себе домой. Мне не терпелось поскорее усесться за чтение.

Первая тетрадь начиналась с короткого обзора биографии владыки Никодима:

Вырос будущий митрополит в конце девятнадцатого — начале двадцатого века в семье профессора Василия Сергеевича Гвоздева. Там все дышало воздухом книжности, учености и искусств. Отец его преподавал в университете историю, мать — пианистка, однажды даже победила на международном конкурсе в Париже. В доме у них бывали не только ученые мужи, но и художники, писатели, музыканты. Так что юный и любимый всеми Вячеслав, которого в доме звали Славиком, сын известных в Москве родителей, получил, что называется, блестящее образование. Поступив в университет сначала на медицинский, он, увлекшись философией, ответы на главные вопросы жизни стал искать у философов, затем у богословов. К немалому удивлению родителей, державшихся прогрессивных убеждений и скептически настроенных к Православию, Славик, которого прочили

за ранние успехи в науках если не в медицине, от которой он постепенно отошел, то в философию, стал предпочитать встречи не в доме родителей, а в церковном обществе, у одного из известных в Москве архиереев. Там составился своеобразный кружок из священнослужителей, где обсуждались самые горячие новости водоворота тех страшных дней. Обсуждались и вопросы богословские. И вот в этой-то высшей священнической среде оказался и один мирской человек — будущий митрополит Никодим.

Когда случился Октябрьский переворот семнадцатого года, он принял священнический сан. Владыка Тихон, избранный Патриархом, возводит его в сан архимандрита, а затем епископа. В 1922 году жертвой власти, объявившей себя непримиримым врагом Церкви, пал митрополит Санкт-Петербургский и Гдовский Вениамин. Вместе с ним были убиты его близкие сподвижники — священники и богословы-миряне. После их

расстрела протоиерей Вячеслав Гвоздев принимает монашество, становится владыкой Никодимом и благословляется Патриархом на борьбу с обновленцами, которые заняли в Северной столице главенствующее положение.

Внешне владыка Никодим производил впечатление слабого, болезненного на вид человека. Невысокого роста, худощавый, он новой власти показался очень даже подходящим для них персонажем, не представляющим никакой опасности.

Хватились они через год, когда обновленцы один за другим стали терять свои приходы, прежде нагло захваченные. И всему виной, как выяснилось, явился вот этот невзрачный на вид архиерей, слово которого оказалось столь сильным и убедительным, что ни один из новоявленных деятелей «живой церкви» не мог устоять под сильным и праведным обличением этого служителя Господня, которому были вручены глаголы Истины.

И ученые мужи, и самые простые люди сразу увидели в молодом владыке посланника Христова, кому вручены были ключи от Царства Небесного.

Спохватившись, чекисты быстро отправили владыку в ссылку, потом в только что образованный «лагерь особого назначения». Начались скитания владыки по тюрьмам и лагерям, откуда он, всюду сумев доказать свою невиновность и даже полезность советской власти, то освобождался, то вновь брался под стражу.

У худенького, невысокого ростом и вроде слабого здоровьем священника оказались несгибаемая воля и крепкое здоровье. Тяготы жизни он почему-то переносил стойко и внешне, казалось, легко. Но что было особенно видно всем, так это его ум, логика, аргументы, против которых вынуждены были отступать даже самые опытные чекисты.

Потом, опомнившись, они просто силой, без всяких доказательств, вновь заталкивали владыку в тюрьму или

лагерь. Но и там владыка умел найти доводы и даже показать свою полезность тюремщикам. Поэтому его не расстреливали «до поры», как они говорили.

Событий этого порядка владыка поведал несколько. В тетради описано лишь одно из них. Потому что оно показалось ему самым существенным.

Когда я прочел тетрадь владыки Николая, я понял, почему именно это событие из жизни владыки Никодима легло в основу повести его ученика.

2

«Какое это счастье — слышать дышанье леса летней порой!

Он прогрет солнцем, по которому истосковались и деревья, и кустарник, и травы, и каждая былинка в этих северных краях. Здесь лето короткое, но вот же теплое и напоминает мне счастливые

дни в Подмосковье. Там была наша дача, в лесу, где мной были исхожены все тропинки, до самых заповедных мест. Там я любил растянуться на траве под березой или под кленом и смотреть в небо, следить, как плывут облака или как ведет себя какая-нибудь птица, которая сядет на ветку неподалеку.

И вот тогда войдут в тебя запахи трав, деревьев, запахи леса, которые сливаются в единое *дыхание* этого живого существа, близкого, родного тебе.

Да, именно так я всегда воспринимал лес.

Конечно, северный лес отличается от нашего, здесь больше хвойных, хотя попадаются и лиственные деревья. Но все равно это *лес*, и когда я иду здесь, мне почти так же хорошо, как было в детстве и юности.

Я был и остался не праздношатающим, а познающим тайны, которые лес, как старший товарищ и друг, постепенно

мне открывает. Мое увлечение медицинской началось именно с познания леса. Открывая свойства трав, деревьев, листьев, коры и корней, я постепенно овладевал тайнами леса, узнавая, как можно лечить многие болезни вот всем этим богатством, дарованным людям всещедрым Господом. Пожалуйста, бери, радуйся, набирайся сил на всю твою жизнь, которая будет тем долговечней и безболезненней, чем больше ты откроешь тайн леса, данного тебе Богом во здравие тела и души.

О здоровье души я задумался подростком и был похож, пожалуй, на того отрока Варфоломея, которому явился в облике схимника-монаха Посланец Небесный.

Такой Ангел во плоти мне явлен не был, но уже в ранней юности я понял, что *дыхание леса есть дыхание небес, дыхание Господне*, которое и пробудило во мне знание присутствия Божьего. Я понял, что Он везде, растворен во всем, что окружает меня.

И особенно остро я ощущаю Его вот здесь, когда иду долгой лесной тропой.

«Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу», — написал Данте в своей «Божественной комедии».

Я знал эту первую песнь Дантового ада, которая уже тогда наводила меня на противоположные размышления.

Ведь у него как говорится:

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.

Но я-то в своей душе ощущал как раз противоположные чувства! Я не утратил правый путь, хотя и находился в аду. Наоборот, мне казалось, что именно здесь я отчетливо понял, что нашел Его. И потому лес был не сумрачным, а солнечным, пронизанным ангеловыми лучами.

В гимназии «Божественную комедию» мы обязаны были знать. И я понимал,

что он пишет про сумрачный лес, потому что дорога ведет в ад.

А моя тропа вела меня, как я уповал и о чем непрерывно молился, к Небу, ко Христу.

Но в то утро, когда я шел из лагеря лесной тропой, мое светлое чувство внезапно исчезло.

Потому что я услышал дыхание зверя.

Расскажу, почему меня выпускали из лагеря без охраны.

К лагерю вела узкоколейка, по которой на вагонетках подвозили уголь, продукты, одежду для заключенных. Меня определили путевым обходчиком. Не сразу, конечно. А только после того, как я вылечил начальника лагеря, товарища Цапко, Митрофана Прохоровича. Этот раб Божий вовсе не соответствовал по своему имени незабываемому Митрофанушке из «Недоросля» Фонвизина. При видимой неучености он обладал природной сметкой и умением распознать суть

человека. Именно эти качества и вывели его в начальники. В графе «происхождение» он всегда писал: «из бедных крестьян». Воевал на фронтах Гражданской войны, выбился в командиры. К чертам его характера следует добавить медлительность, с которой он относился к решению дел: сначала обдумывал, молчал, прежде чем совершить какое-нибудь действие. Но если уж принимал решение, сдвинуть его с принятой позиции представлялось делом очень трудным. Вид он имел угрюмый, властный, но на самом деле в глубине души жесткие решения давались ему с трудом.

Это мне стало понятно, когда я приглядывался к нему.

К слабостям Митрофана Прохоровича следует отнести пьянство — о чем свидетельствовал его розовый толстый нос на круглой, широкой физиономии. Когда он выпивал, на мясистых розовых губах появлялась блуждающая улыбка,

по которой легко определялось его состояние. Но если кто-то говорил об этом, то немедленно получал от товарища Цапко гневную отповедь, а то и суровое наказание.

Стать его была крупной, внушительной. Широкая спина сутуловата, руки и ноги крепки, хотя уже и ослаблены водкой.

Цапко, конечно, знал, кто я таков и за что подвергся очередной посадке. Ему было приказано не особенно стараться выбивать из меня «поповский дух». Указывалось, что я имею медицинские и другие познания, которые следует применять в лагерной жизни. Но учесть, что я могу совершать некие таинственные поступки, которые, конечно же, есть медицинские факты, а не так называемая «помощь Божья», которые «ученый поп» может выдать за чудеса.

В подобных случаях можно применять и строгие наказания.

Все это позже я узнал от Кротова Михаила Ивановича, заместителя начальника лагеря «по политической части».

Так вот, Митрофана Прохоровича сильно прихватила болезнь печени, которая стала сигналить владельцу, что нельзя же ее так насиловать водкой, а то и «денатуркой», особенно в зимнюю пору, когда узкоколейку заносило снегом и снабжение лагеря продуктами питания и водкой затруднялось.

В один из таких метельных дней и вызвали меня к Митрофану Прохоровичу.

Он лежал в спальне на кровати в своем кирпичном доме, хорошо обжитом, с прихожей и гостиной, обставленной мебелью, сделанной умельцами-заключенными. В спальню меня привела Светлана Тимофеевна, дородная женщина, из вольнонаемных, сожительница Цапко. Дородность ее ни в коем случае нельзя принять за недостаток, потому что ее формы выглядели умеренными, привлекательными

для мужчин. Лицом она тоже была привлекательна — небольшой курносый нос, мягкий овал лица, густые светлые волосы, уложенные на голове в тугой узел.

Но если повнимательней присмотреться к ее лицу, в глазах можно было заметить тщательно скрываемую хитрость и властность. Они прорывались редко, в особенных случаях. Но именно эти черты характера оказались главными — и хорошо, что я их разглядел с первых же дней знакомства со Светланой Тимофеевной.

Заклученные относились к ней внешне почтительно, но без всякого уважения. Звали между собой Цапухой и еще другими неприличными именами, которые произносить нельзя.

— Вы уж его вразумите, — сказала мне по дороге Светлана Тимофеевна. — Пьет без удержу. Особенно сейчас, метелью. Надежда на вас как на человека, единственно здесь образованного медицински.

Цапуха относилась к интеллигентскому сословию, оттого и обратилась ко мне на «вы».

— А Виктор Сидорович? — спросил я про врача лагерной больницы.

— У него тоже запой.

Виктор Сидорович Свиблов зашибал вместе с Цапко, об этом в лагере хорошо знали. Свои врачебные обязанности Свиблов исполнял формально, лишь бы поскорее отвязаться от больных, которые все для него, как и для остального начальства, были сволочи, мразь, отбросы — словом, «враги народа». Лечение он назначал в зависимости от тех лекарств, которые были у него под рукой, — то есть самых примитивных.

Когда мы вошли в спальную комнату, перед нами предстало довольно печальное зрелище. На высокой перине и на пуховых подушках лежало громадное тело, сейчас совершенно бессильное и беззащитное. Рядом с кроватью стоял таз с водой

и рвотой Цапко — его выворачивало наизнанку уже почти сутки. Как пояснила Светлана Тимофеевна, рвоту останавливали очередным стаканчиком водки. Облегчение наступало ненадолго, а потом снова начинались изнурительная рвота.

Цапко посмотрел на меня мутным печальным взглядом смертельно усталого человека. Впервые я увидел грозного Цапко в таком виде. Надо заметить, что при громадности тела и физической силе голос у Цапко был теноровый, тоненький. И когда он отдавал приказы или распекал кого-то, то не говорил, а визжал.

Я сел на услужливо подставленный мне стул возле кровати, откинул пуховое одеяло. Поднял его рубашку и осмотрел живот. Он хоть и опал, но все равно был внушительных размеров — Цапко не только любил выпить, но и хорошо поесть.

— Печень увеличена сверх всякой меры, Митрофан Прохорович. Если не перестанете пить, вас может хватить удар.

Апоплексия называется. Или наступит другая смертельная болезнь. Называется цирроз.

Взгляд Цапко стал осмысленным — в нем появился испуг.

— Скажите, что делать, — плачущим голосом проговорила Цапуха.

— Для начала промоем желудок. Уберите одеяло, застелите перину — будет много грязи.

Светлана Тимофеевна поспешно убрала пуховые постельные принадлежности. Цапко был заядлый охотник, а в этих северных местах водились куропатки, утки, гуси. Пух от птиц и шел на перины и подушки начальствующим.

Переворачивали тело Цапко мы вдвоем со Светланой Тимофеевной. После основательной промывки желудка Цапко совсем обессилел и заснул.

Я наказал Светлане Тимофеевне спрятать водку от Цапко понадежнее, Виктора Сидоровича в дом не пускать. Его лечение

сводилось к опохмелке, которой он довел Цапко до изнурения. Успокоительных мы не нашли. И вот тогда я из подручных лекарств составил микстуру, которая и успокоила наконец печенку Цапко. Рвота прекратилась, постепенно Митрофан Прохорович стал приходить в себя. Добавлю, что Светлана Тимофеевна убедила заместителя начальника оставить меня при больном, так что я три дня и три ночи провел в доме Цапко. И, пользуясь случаем, стал рассказывать Светлане Тимофеевне про целебные свойства трав, которые можно собирать в лесу сразу же за «колючкой». Вот тогда можно поправить здоровье и бесценного Митрофана Прохоровича, и Светланы Тимофеевны. И не держать в больнице стольких людей, которые мрут как мухи. Если же их подлечить, то они будут работоспособны. А это значит, что вырастет производительность труда. И будет выполнен и даже перевыполнен план по строительству моста через

реку, а также по возведению нового здания администрации.

Эти мои доводы внимательно выслушал товарищ Кротов Михаил Иванович, как вы уже знаете, наш политический руководитель. Он и предложил сделать меня путевым обходчиком с правом выхода из лагеря без охраны. И чтобы я одновременно с основной работой собирал травы — раз они так полезны.

Этого мне и надо — я стал бывать в лесу.

Какая же мне была дарована радость!
Слава тебе, Господи!

Во-первых, лес оказался грибной и ягодный. Я сделал в лесу схрон — выкопал яму, выложил ее камнями и обмазал глиной.

У меня получилась чудесная кладовая. В ней я хранил грибы и ягоды, а также сборы целебных трав, которых оказалось в этих местах немалое количество. И все эти бесценные дары Господа я приносил

в лагерь. Что-то открыто, лично для Цапко и для больницы, что-то пряча под одежкой в мешочках — для особо тяжелых больных.

Замечу, что после того, как я поднял на ноги Митрофана Прохоровича, он стал относиться ко мне иначе, чем в те дни, когда я только поступил в лагерь.

А сейчас, когда я подходил к пропускному пункту, выходя из лагеря, охранники не проверяли меня, а лишь говорили:

— А, это Блажной. Проходи.

Лязгали тяжелые металлические зазоры, дверь открывалась, и я оказывался за высокой стеной, поверху которой тянулась в три ряда колючая проволока.

Я, перекрестившись, шел вдоль узкоколейки — туда, где темнел лес.

3

Я начал с того, что мое молитвенное состояние на лесной полянке, облитой неярким северным солнцем, прервал

звериный запах, который донес летний ветер. Должен сказать, что в тюрьмах и лагерях обоняние у меня обострилось — особенно при резком переходе от барачной вони к свежему лесному воздуху. И если к дыханию леса примешивался какой-то иной запах, я его сразу улавливал.

На этот раз запах шел барачный — давно не стиранной, пропахшей потом одежды и той затхлости, какую не спутаешь ни с какой другой. Она исчезает, если всю лагерную одежду выкинешь, а сам как следует пропаришься в бане. Но от лагерного беглеца несло еще и парашей — одолел бедолагу понос.

К тому же хрустнула ветка под тяжелым лагерным ботинком, хотя владелец этих башмаков ступал осторожно.

Я не оглянулся, продолжая расчищать палкой траву и палую листву под осиной, где обнаружилась семейка грибов. Они выросли на загляденье — ладные, крупные, со светло-коричневыми боками.

— Гляди, какие они красавицы, — сказал я, срезая железкой, которая у меня была вместо ножа, одну грибную ножку за другой и складывая грибы в сумку. — Славная будет жареха, а, Петр Петрович? О, да тут еще одна семейка — давайте-ка ко мне в сумку, родимые.

Я продолжал собирать грибы, не оглядываясь. Знал, что уже пошла вторая неделя, как рванул из лагеря Петр Петрович Фонарев, по кличке Фонарь, авторитет, «урка», «мокрушник» — по-лагерному. Его ловили, но безуспешно — Фонарь запутал следы, забрался в глухомань, в которую пройти мог только человек, хорошо знающий здешние места. К таким людям стал относиться и я.

Отсюда надо идти к перевалу, перейдя который, дальше, через тайгу, можно выйти к станции Узловая. Но Фонарь застался здесь, хорошо зная, что на Узловой его поджидают. Видимо, он решил хорониться в тайге до осени, чтобы затихла

погоня. Слякотной порой легче забраться на проходящий товарняк и добраться до ближайшего городка Северска. А там, насколько мне известно, у него «корешки», то есть сотоварищи по разбойным делам. Они-то и должны дать все необходимое Фонарю, чтобы он доехал до города покрупнее, чем Северск, где можно затеряться.

О предполагаемых планах Фонаря и поимке беглеца я знал из лагерных разговоров и в больнице, и в бараке. Предупреждал меня о возможной встрече с Фонарем Митрофан Прохорович. Говорил, что днями доставят особо обученных собак, тогда Фонарю каюк.

А пока надо его остерегаться. По шагам и запаху я определил, что Фонарь остановился за моей спиной. В руке у него нож. Он раздумывает, как меня убить — сразу или повременить.

— Убивать меня сейчас не следует, Петр Петрович. Во-первых, я тебя могу

накормить. А во-вторых, и это самое главное, помогу тебе как врач. Понос-то у тебя такой сильный, что за версту от тебя несет, хотя ты и стараешься соблюдать гигиеническую чистоту.

Я собрал все грибы, что росли под этими осинками, и только тогда выпрямился и повернулся лицом к Фонареву.

— Ну здравствуй, Фонарев Петр Петрович. Как ты тут? С Михаилом Ивановичем не встречался?

— При чем тут Кротов?

— Да не про политработника я. Про хозяина тайги, который по запаху на тебя может выйти. Финку-то спрячь. Сейчас она тебе не понадобится.

Фонарь ухмыльнулся. Но защелку нажал, и острое длинное лезвие вдвинулось в рукоятку.

— И правда, Блажной, резать тебя пока не резон.

Выглядел Фонарь скверно — черно-рыжая щетина на лице, телогрейка

и лагерные стеганые штаны замызганы, местами порваны, под правым коленом нога перетянута грязной тряпкой. На голове зимняя шапка, уши которой подняты наверх. Видны черно-белые лохмы. Взгляд твердый, может долго смотреть не мигая.

— Одичал ты, Петр Петрович. Как же в таком виде думаешь на люди выйти? Тебя сразу застукают.

Он не ответил, лишь опять оскалился. Зверь, да и только.

— Вот что, Петр Петрович. Идем-ка, покажу мою сторожку. Там тебя хоть немного в порядок приведу.

Помимо схрона для заготовок у меня было еще два тайника — один ближний, другой — дальний. В них я постепенно накапливал все, что удавалось вынести из лагеря: кружку, ложку, тарелку (все жестяное), мешочки для трав, соль, спички, тряпки для разных нужд. Из железяки сделал себе ножичек, о котором

упоминал. В общем, как Робинзон Крузо обжился — только не на южном острове, а в северной тайге. И вместо Пятницы появился у меня спутник — Фонарь.

Ближний тайник я устроил неподалеку от узкоколейки, а дальний — как раз рядом с той полянкой, где встретил Петра Петровича.

Прежде всего заставил снять нижнюю одежду и повесить ее просушить. Скормил беглецу сухари, которые запас, заварил настой дуба и дал выпить. Пока варился грибной супчик, я сходил к озерцу, принес воды и промыл, насколько возможно, рану на ноге Фонаря. Она начала гноиться, и при первом же осмотре стало понятно, что дела у Петра Петровича плохи. Но я не сказал ему об этом и, приложив листья подорожника, забинтовал рану чистой тряпицей. Прикинул, что если не сделать операцию, то может начаться гангрена.

— Где ж ты так?

- Бежал быстро. Упал.
- Надо было рану промыть.
- Некогда.
- А теперь придется лечить тебя не один день.
- Ерунда. Заживет.

Мне осталось лишь вздохнуть и надеяться, что гангрена быстро не начнется.

Лежку Фонаря я уговорил перенести к моему тайнику — здесь место благодатное, удобное, скрытное. Вода рядом. Густые лапы ели прикрывают мой тайник, так что здесь вполне можно устраивать жильё.

Во второй мой приход к Фонареву я понял, что худшие мои предположения подтвердились.

— Вот что, Петр Петрович, — сказал я, перевязав рану на его ноге. — Выбирай: или возвращаться в лагерь, где я смогу сделать операцию, либо остаться здесь, но потерять ногу. Причем здесь ее придется пилить без наркоза. Решай.

Мы сидели на полянке, около его лежки. Светило осеннее солнышко, проглядывая между серыми облаками. Скоро ударят дожди, в лесу жить станет совсем тяжело. А двигается Фонарев по-прежнему с трудом, на долгую дорогу сил у него не хватит.

Он сидел, набычившись, угрюмо глядя на меня.

— Если вернусь, меня сразу под расстрел.

— Не совсем так. Я скажу Цапко, что ты готов явиться с повинной и искупить свою вину, ударно трудясь, как только заживает нога. Да и отдавать тебя расстреливать у него нет резона. Во-первых, ему в заслугу, что он нашел беглеца и перевоспитал его — так представить дело совсем нетрудно. А во-вторых, с твоей помощью, Петр Петрович, ему легче будет управлять блатными, потому что тебя они слушаются. И этот аргумент очень существенный. Он говорит о том, что тебя

полезней оставить в лагере, а не отдать в расстрельную команду.

— Это еще бабка надвое казала. Поэтому как верхнее начальство может рассудить иначе.

— Согласен. Но я и об этом подумал. — Я снял котелок с палки, висящей над костерком, отлил немного грибного супчика себе в миску, а котелок передал Фонареву. — Ешь. Вот, сухарики тебе принес, — я протянул ему сухари. — Бери-бери, тебе они нужнее.

Он все еще подозрительно глядел на меня, никак не мог взять в толк, почему я вожусь с ним. Я видел, что он раздумывает над тем, не хочу ли я, сдав его, извлечь для себя выгоду.

И он прямо спросил об этом:

— Тебе-то какой навар от этого расклада?

— Ответ очень простой, Петр Петрович. Поможешь болящему — поможешь

и Мне, говорит Христос. Я привык так поступать.

Он перестал хлебать супчик, смотрел на меня, как будто не он больной, а я.

— Вроде не глупый ты человек, Блаженной. А лепишь дурнуху.

— Дурнуха, как ты говоришь, да не совсем. Сам рассуди, Петр Петрович. Здесь я смогу тебе отрезать ногу по коленке. И неизвестно, остановится ли гангрена. Другое дело в лагерной больнице.

— Да кто со мной будет цацкаться? В больницу! Еще скажи, в город повезут, к профессорам!

— Незачем им к профессорам тебя везти, когда у них свой есть.

— Алкаш Свибло, что ль?

— Нет, не Виктор Сидорович. Я.

— Ты профессор? — Рот Фонарева приоткрылся, я увидел желтые, но крепкие зубы. Лицо Фонарева порядочно заросло волосами, но теперь они не топорщились, а лежали окладистой бородой

и густыми усами. Впрочем, от этого Фонарев не утратил своего разбойничьего вида.

Он хохотнул.

— Да, Петр Петрович. Я профессор Московского университета. Доктор философских наук. И в медицине имею достаточные знания и практику. Даже когда стал служить в храме, оперировать время от времени приходилось. Особенно в годы войны. А звать меня в миру Вячеслав Васильевич Гвоздев, а в церкви — митрополит Никодим.

Фонарев продолжал ухмыляться. Впрочем, ухмылка теперь стала несколько растерянной.

— Я думал, тебе об этом доложили, Петр Петрович. Да ты ешь; пока суп горяченький, он вкуснее.

— Надо же... — наконец произнес он. — Вот так поп. Придурь-то профессорская.

— Что ж, может, и так. Впрочем, пора мне — а то к поверке, не приведи Господь,

не успею. Решай, Петр Петрович. Я дня через три приду. Не бойся, никого с собой не приведу.

— Гляди, — погрозил мне толстым указательным пальцем с ногтем, теперь похожим на коготь.

4

Наш приход в лагерь оказался столь неожиданным, что привел в оторопь и многих заключенных, и начальство.

Я шел за конвойным мимо барачков к одноэтажному срубовому дому, в котором были кабинеты Цапко и Кротова. За мной, хромая, опираясь на клюку, сделанную им самим, шагал Петр Петрович. Получалось, что это я веду беглеца, хотя решение-то принимал он добровольно. Рассудил, что отпиливать пол ноги и без водки все же не стоит.

Заклученные здоровались с Фонаревым, некоторые кланялись ему, а Цапко,

когда конвойный ввел нас в его кабинет, встал из-за стола и выдвинул голову вперед, не зная, что и сказать. В лагерь должна была приехать инспекция в связи с побегом и некоторыми другими обстоятельствами, которые требовали проверки, так что Цапко с Кротовым готовили отчетность. О порядках в лагере можно было и отговориться, все безобразия списав на борьбу с контрреволюционной бандой, которая продолжает вести свою работу даже и среди уголовного элемента. А потому строгие меры необходимы. Но вот как открутиться от побега заключенного, к тому же особливо опасного, представлялось для Цапко и Кротова неразрешимой задачей.

И вдруг он является сам!

— Позвольте обратиться, гражданин начальник, — прервал я молчание. — Собирая травы для лечения больных по вашему разрешению, встретил заключенного Фонарева. Предложил ему вернуться с повинной, и он принял это предложение.

— Так сразу и принял? — Кротов тоже встал, оправив кожаный ремень, перетягивающий гимнастерку. Военную выправку Кротов не утратил, а наоборот, всячески ее поддерживал, занимаясь гимнастикой и тщательно следя за обмундированием. Своим внешним видом он подчеркивал разницу между собой и толстым Цапко, как бы показывая, кто на самом деле должен командовать в лагере. Соперничество с Митрофаном Прохоровичем он прикрывал внешним согласием с действиями Цапко, хотя в период запоев начальника принимал свои решения, а не его. И тем подчеркивал превосходство. Что уж говорить о красноречии Кротова — тут в громогласной революционной риторике еще надо было поискать равных ему.

— Заключение Фонарев принял такое решение самостоятельно, — ответил я. — Я лишь сказал ему, что разумней купить вино ударным трудом — как только он залечит рану.

Оглавление

Вступление

5

Спасти человека

Тетрадь первая

13

Послушники

Тетрадь вторая

131

Исцеление

Тетрадь третья

415